

ЭТИ СЛОВА, вынесенные в заголовок, принадлежат Льву Толстому: он записал их 2 июня 1863 года в своем дневнике. Пожалуй, точнее не выразить состояние, которое испытывает человек, читая Гёте. Роятся мысли — о жизни, о бытии. У Томаса Манна (помимо его других статей о Гёте, помимо «Лотты в Веймаре») есть «Фантазия о Гёте» — рой мыслей, набравших от общения с огромным миром, именуемым Гёте. Нет, кажется, более мощного возбудителя мысли: в каждой строке не только «Фауста», но и малозначительного на первый взгляд стихотворения «на случай». Впрочем, сам Гёте считал, что стихотворение «на случай» есть «первейший, истиннейший род поэзии». Сердце его открывалось случаю — тому, что случается, происходит в мире ежеминутно, ежесекундно, регистрировало состояние меняющегося мира: в смехах он видел залог прочности.

Мир был для него наполнен поэзией, он любого человека был готов признать своего рода поэтом, носителем некоего духовного начала, и говорил своему секретарю Эккерману: «Я все больше убеждаюсь в том, что поэзия есть общее достояние человечества и что повсюду во все времена ее носителями являются сотни и сотни людей...»

Гёте писал стихи всю жизнь, он начал с восьмилетнего возраста, а последние строки писал 83-летним стариком, и даже умирая, уже не пером — пальцами по одеялу писал слева направо: строчки.

Он был великий прозаик, великий драматург, он был ученый, автор научных сочинений, но более всего он выражал себя в стихе, в ритмах, ощущал себя «пленником стиха» и главное, заветное свое творение — «Фауст» — написал также стихами. В «Фаусте» — перлы поэзии, многообразие форм, кажется, все поэтические поиски Гёте нашли там свое отражение.

Гёте был прежде всего поэтом, и это хорошо понимал наш Тургенев. Гёте, писал он, «был поэт по преимуществу, поэт и больше ничего. В этом, по нашему мнению, состоит все его величие и вся его слабость. Он был одарен всеобъемлющим созерцанием; все земное просто, легко и верно отражалось в душе его. Со способностью увлекаться страстно, безумно он соединял в себе дар постоянного наблюдения, само-невольного поэтического созерцания своей собственной страсти; с бесконечно разнообразной и восприимчивой фантазией — здравый смысл, верный художнический такт и стремление к единству. Он сам был весь целый, весь — как говорится — из одного куска; жизнь и поэзия не распадалась у него на два отдельные мира: его жизнь была его поэзией, его поэзия была его жизнью».

Эти замечательные слова многое объясняют. Что значит его бесконечные любовные стихи, любовные излияния, томления, как не формы поэтической исповеди, «поэтического созерцания своей собственной страсти» вплоть до глубокой старости? Гёте признавался: «Я сочинял и высказывал только то, что жило во мне, что жгло меня изнутри и требовало воплощения. Я сочинял любовные стихи только тогда, когда я любил...» В биографиях Гёте имена женщин,

которые вошли в его жизнь, численно превосходят названия мест, с которыми связано его творчество. Менее всего это похоже на некий «донжуанский список». Томас Манн справедливо писал: «Все эти Фредерики, Лотты, Минны и Марианны стали мраморными изваяниями, которые установлены в нишах собора, именуемого человечеством». Он же писал о Зулке из «Западно-Восточного дивана»: Гёте был охвачен «поздней, поэтически нужной ему, во всяком случае, поэтически плодотворной страстью...» С Зулкей, во имя Зулкей он постигал Восток — Гафиза, Фирдоуси, привел их силой воображения, вдохновения, страсти к себе, в Веймар,

Ибо дружим мы с прекрасным, А с уродливым враждуем... Многие, наверное, читали этюд Стефана Цвейга «Мариенбадская элегия». К звездным часам человечества Цвейг причислил день 5 сентября 1823 года — «прощание с Карлсбадом, прощание с любовью»: речь идет о последнем страстном увлечении Гёте — в семьдесят четыре года он сватался к девятнадцатилетней Ульрике фон Левецов. Как известно, женитьба не состоялась, самолюбие Гёте было уязвлено, страсть, однако, оказалась «поэтически плодотворной»: поэт ответил на нее «Мариенбадской элегией», перед завершением «Фауста».

Но все это относится уже к позднему Гёте, а вначале была деревушка близ Страсбурга — Зезенгейм, дочь деревенского пастора Бриона — Фредерика. Через долгую жизнь, из орлиной своей старости, в «Поэзии и правде» он вновь явственно увидел ее. «Стройная и легкая, она двигалась, словно не имея веса, и две голые белокурые косы, ниспадавшие с изящной головки, казались слишком тяжелыми для ее шейки. Ее блестящие голубые глаза смело смотрели на мир: хорошенький вздернутый носик так живо и мило втягивал воздух, словно не существовало на свете никаких забот. На руке у нее висела соломенная шляпа...» Это был его «тип женщины» — простота, наивность, естественность.

Каков, однако, значение имели бы толстые белокурые косы и хорошенький носик Фредерики Брион, что значила бы для нас деревушка Зезенгейм, если бы из тех дней и ночей не возникли «Зезенгеймские песни» и среди них — «Свидание и разлука», проникнутое необычайным внутренним жаром, ощущением полноты жизни в себе?

Толпою чудищ ночь глядела, Но сердце пело, несся конь. Какая жизнь во мне кипела, Какой во мне пылал огонь!..

И опять мы заглядываем в дневник Льва Толстого и в записи от 19 июня 1857 года в связи с этим именно стихотворением находим слова: «Читал воспитательного Гёте»...

Волшебник стиха, Гёте относился к стиху целомудренно, как бы даже застенчиво, долго опасался «огласки» и стихи свои решил опубликовать сравнительно поздно, когда уже был знаменитым писателем, предварив их смущенно-ироническим «Самооправданием». Стихи были тайной сердца и высшей формой откровенности.

Впрочем, многим стихам Гёте, даже самым ранним, свойственно драгоценное стремление к точности фиксации, тяга к реалиям, к конкретности, к достоверности, к бытию. Он хорошо знал, что тот, кто с хлебом слез своих не ел... тот не знаком с небесными властями: хлеб поэзии замешен на суровой, горькой подчас, прозе жизни. У него есть в драматической форме написанные стихи о художнике, крохотная «трилогия», которая завершается «Апофеозом», а начинается «Земной жизнью художника». Там наравне с Музой, с боготворимой Авророй, действуют жена художника, дети, заказчики. Жена художника говорит мужу: «Подика, если тебе не лень, воды принеси, наколи дровишек, надо суп сварить для детишек». Сама Муза ведет с художником разговор о деньгах, о зарботке, о хлебе насущном. У Гёте всегда так: дух, воспаряя к звездам, отталкивается от земли.

Особое очарование для Гёте таилось в точной, лишенной лжепоэтической витиеватости

фразе, в прозе, облеченной в форму стиха.

В 1788 году он пишет в «Посещении»:

За работой милая уснула, Руки нежные на грудь сложила, Выронив и спицы и вазанье... Тихо положив два апельсина И две розы рядом с ней на столтик, Ускользнул я прочь неслышным шагом...

Эти строки — прорыв в позднейшие поэтические эпохи. Цикл «К Лили» содержит знаменитое стихотворение «На озере»:

Кольшась плавно, в лад веслу, Несет ладью вода... Ветер налетавший Будит зеркало вод, И, почти созревший, К влаге клонится плод.

Здесь природа увидана, услышана, запечатлена с абсолютной достоверностью. Гейне писал, что Гёте держит перед природой зеркало, веющее, он сам — зеркало природы: «Природа пожелала узреть, как она выглядит, и создала Гёте».

Есть закон сохранения материи, Гёте открыл закон сохранения духа. Он был уверен, что

ность Гёте не имеет ничего общего с душевной изнеженностью, с нудным умствованием, мертвой книжностью, с жеманной безтелесностью. Его влекла античность, например, античные статуи, в которых он видел идеальное воплощение красоты и верности естеству, но правы те, кто считает стремление Гёте к античной форме лишь высшим выражением его реализма. Его «аппетитные гекзаметры «Римские элегии» и «Венецианские эпиграммы» не менее человечны, согреты не меньшим сердечным теплом, содержат не меньшую жизненную, житейскую основу, чем его стихи, выросшие непосредственно из народных, даже из уличных песен, а его заимствованный у Ганса Сакса «книгтельферз» — балаганный, рашный стих — не менее высок, чем гекзаметр.

Он и сам считал, что стихи рашников — наиболее естественная для немецкой поэзии форма, и чудодейственно преобразовал «книгтельферз» в стих, которым написан «Фауст»: материализованный в ткани почти рашного стиха ироничный и трезвый

вена: ночные мысли, когда остаешься один на один с бытием, со звездами.

...Ах! то было и моим, Чем так сладко жить, То, чего, расставшись с ним, Вечно не забыть. Лейся, лейся, мой ручей, И журчанье струй С одинокою моею Лирой согласуй...

Эти строки приводятся в переводе Жуковского, одного из самых первых и самых лучших представителей Гёте в России. В августе 1827 года Жуковский посетил в Веймаре своего кумира, у него есть стихи «К Гёте»: «В далеком полночном свете Твоею Музою я жил. И для меня мой гений Гёте Животворитель жизни был...», он перевел свое стихотворение на немецкий, преподнес Гёте, озаглавив «Дорогую великому человеку».

В переводе Жуковского к русским навсегда пришел гётевский «Лесной царь». Сто с лишним лет спустя хрестоматия балладу трепетно перечитывала Марина Цветаева, она считала, что «лучше перевести «Лесного царя», чем это сделал Жуковский, — нельзя. И не должно пытаться».

О русских читателях Гёте, начиная с Пушкина, с арзамасцев, с Баратынского, с поэтов-декабристов, о его исследователях, толкователях, переводчиках написаны большие труды. Его переводили Тютчев, А. К. Толстой, Фет, в наше время его по-новому и по-своему услышал и перевел Пастернак. Русские относились к Гёте с глубокой заинтересованностью, восторженно, критично, серьезно; придирчиво следили русские переводчики за подлинником.

В 40—60-х годах прошлого века Гёте много переводил Александр Струговщиков — имя сейчас забытое, почти неизвестное. Струговщиков состоял на службе в военном министерстве, занимал видный пост, жил, однако, только своим Гёте, про него говорили, что он переводчик-маньяк. Он знал наизусть всего «Фауста» в подлиннике, переводил его шесть раз, каждый раз заново, сурочком запечатывал рукопись в конверт, прятал в ящик стола, а ключ от ящика бросал в Неву, чтобы не повторяться. Последний, окончательный вариант его перевода внимательно читал Гончаров, делая на полях осторожные замечания: «в оригинале это место так...», «у Гёте эти строки так...», «Гёте выразил эту мысль более сжато...» — кажется, он дышал на каждую строчку. Когда Струговщиков перевел «Римские элегии», на его труд с восторгом отозвался Белинский: «Честь же и слава человеку, который гордо сохраняет чистую и возвышенную любовь к истинному искусству и, не гоняясь за эфемерными успехами и не обращая внимания на толпу, жаждущую только до литературных мелочей, с замечательным успехом посвящает данный ему богом талант на усвоение родному языку великих созданий великого поэта Германии».

Время вытеснило переводы Струговщикова, заменило их более совершенными, но одержимость переводчика, общественный отклик, который получил его труд, свидетельствуют о том, какое место занимал Гёте в духовной жизни России.

В 1873—1874 годах в Московском университете и на высших женских курсах лекции по истории немецкой литературы XVIII века читал молодой ученый Александр Александрович Шахов. Слушать его собиралась вся студенческая Москва. Это было не просто литературоведение. По отзыву профессора Стороженко, Шахов «успел заронить в молодые и восприимчивые души своих слушателей и слушательниц много семян истины и добра» — так любили выражаться в те годы.

Шахов умер от чахотки, едва достигнув 27-летнего возраста. Его изданные отдельной книгой лекции «Гёте и его время» стали событием. Его занимала личность поэта в соотношении с временем; что значит время Гёте, кончилось ли оно?..

Еще при жизни Гёте вокруг его имени лепились, нарастали легенды. Одним только величайшим своим видом он вызывал трепет. Гейне, впервые увидев его, искренне удивился, что тот понимает немецкий, сам он чуть было не обратился к нему по-гречески. Карамзин в «Письмах русского путешественника» в веймарской записи 21 июля 1789 го-

да пометил: «Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, где живет Гёте, видел я его смотрящего в окно, — остановился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо!..»

Из Веймара 22 ноября 1820 года Кюхельбекер писал Дельвигу:

«Я видел бессмертного... Гёте росту среднего, его черные глаза живы, пламенные, исполнены вдохновения. Я его себе представлял исполином даже по наружности, но ошибся. Он в разговоре своем медленен: голос тих и приятен: долго я не мог вообразить, что передо мной гигант Гёте!..»

Гигантом, исполином делал Гёте дух, вопреки старости многочисленным недугам, многим пережитым им личным страданиям.

Постепенно стала возникать легенда о Гёте-олимпийца, олимпийца-придворном, который снимает шляпу перед саксен-веймарским герцогом и невозмутимым взором Зевса оглядывает клочущий и страдающий мир. Эта кажущаяся невозмутимостью могла выветриться из себя многих, не только мелких литературных доносчиков типа жалкого критика Менцелля, но и таких людей, как выдающийся немецкий публицист Людвиг Бёрне, который его покойное безучастие, его любознательность, естественность, пытливость в делах человеческих». Да и сам Герцен, который восклицал: «Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гёте», Герцен, который лучше других понял суть братства Гёте и Шиллера: «в этих гигантах борющиеся и противоположные направления соединились огнем гения — в воззрение изумляющей полноты», с горечью писал о «ярко освещенной морозной высоте, на которой величественно дремал под старость Гёте»...

Мы знаем о великих противоречиях этой великой личности. И все же окинем еще раз мысленным взглядом его жизнь, восемьдесят три его года, и вместе с Томасом Манном скажем: «О твердыню его духа разбилась гигантские валы истории, прокатившиеся над миром...»

Гёте, возможно, один из убедительнейших примеров того, насколько поэту важна твердыня духа, яркость, неповторимость, красота личности.

Около ста пятидесяти лет вокруг имени Гёте не стихают страсти, за него ведется борьба.

Вскоре после крушения германского фашизма Иоганнес Бехер писал: «Заново открыть царство, именуемое Гёте, значит освободить Гёте-освободителя из рук тех, кто так позорно растратил и бесстыдно употребил во зло его наследие».

Он обратился к молодежи: «Не дайте запутать себя, не дайте ввести себя в заблуждение каким-нибудь назидательным трактатиком о Гёте, не дайте себя отвратить от Гёте невыносимыми сплетнями, распространяющимися вокруг его имени. Не дайте вновь обмануть себя таким Гёте, который сидит в гипсовой позе престарелого сановника, не дайте отвратительной халтурной писанины о Гёте отпугнуть себя от того, чтобы искать Гёте в его творениях и найти его там, где оно есть»...

Когда Гёте был уже стариком, к нему вернулся список его богоборческого «Прометея», стихотворения времен «Бури и натиска», где устами Прометея говорил сам поэт:

...Нет ничего под солнцем Ничтожной вас, богов! Дыханем молитвы И дымом жертвоприношений Вы кормите свое Убогое величие. И вы погибли б все, не будь на свете Глупцов, питающих надежды, Доверчивых детей И нищих...

Гёте не без смущения заметил, что эти стихи могут стать евангелием для революционной молодежи. Он не ошибся, в волных, как ветер, свободных ритмах молодого революционного сил Европы слышался голос борьбы, призыв к действию. Гёте сравнивали с Прометеем. Но он не был ни Прометеем, ни Зевсом. Он был Гёте.

Лев ГИНЗБУРГ «ЧИТАЮ ГЁТЕ, И РОЯТСЯ МЫСЛИ...» В издательстве «Художественная литература» выходит новое десятитомное собрание сочинений Иоганнеса Вольфганга Гёте под общей редакцией Н. Вильмонта, Б. Сучкова, А. Анникста. Духовное обогащение человеческой личности, доступ всех к достижениям мировой культуры, как подчеркивалось в Заключительном акте Хельсинкского совещания, имеет большое значение для укрепления мира, создания климата доверия в отношениях между народами разных стран. В публикуемых заметках речь идет о животворных традициях классического наследия великого Гёте.



«Дух наш — это нечто, совершенно не поддающееся разрушению. Он продолжает жить вечно, за вечно. Он похож на солнце, заход которого существует лишь для наших земных глаз, но которое, собственно, никогда не заходит и непрестанно продолжает светить».

Бессмертие духа не есть нечто отвлеченное, метафизическое, оно состоит в бессмертии дела, работы неутомимых человеческих рук. Дух — это и есть труд, отсюда и бессмертие: «смерти на беду, он нам оставил волю, страсть к труду».

Труд — источник гармонии. В поэме, посвященной Гансу Саксу, нюрнбергскому сапожнику и мастерзинугеру, Гёте не случайно изображает «поэтическое призвание Ганса Сакса» в обстановке его сапожной мастерской, в воскресный день, когда под стол брошен грязный фартук и, подобно живым существам, почивают «гвозди, клещи, шило, дротва», а рука «в день седьмой» отдыхает «от иглы сапожной и молотка». Делом, трудом достигается великая соразмерность.

разум народа. Объяв своим творчеством весь мир, всю жизнь, он ощущал заложенное в ней таинственное соединение быстротечности с бесконечностью, неподвижной, как бы застывшей величественности и подвижного, пестрого карнавального начала. Это он, Гёте, в своих «Венецианских эпиграммах» утверждал, что «от века сродни были фигляр и поэт», это он, обожатель искусства, картин, мрамора, чистосердечно признавался: «...до чего же меня утомили перлы искусства!.. Ищет живой красоты мой притупившийся взгляд...» Жизнь во всех ее проявлениях заиграла его, он превращал схваченное, пережитое мгновение в высочайшее искусство, чтобы возратить его в жизнь: слово его глубоко укоренилось в народе...

В 1776 году он написал «Ночную песнь путника» в окрестностях Веймара, там, где соорудили потом Бухенвальд. Часто эти строки цитируют с горькой иронией: страшный парадокс!.. Между тем именно здесь, в центре нестихающей скорби, призыв Гёте звучит с наибольшей убедительностью, здесь он более всего уместен:

Мира сладость, Низойди в больную грудь!.. Другая ночная песнь, написанная четыре года спустя, стала у нас бессмертной благодаря Лермонтову: «Горные вершины...» Перевод Лермонтова — необычайное проникновение во внутреннее состояние Гёте, в эту страстную потребность в покое, в отдыхе, величайшее из обещаний, в котором нуждается человек: «...отдохнешь и ты...» Существует родство поэтических душ, поразительное сходство настроений. В цикле стихов к Лиде — Шарлотте фон Штейн — стихотворение «К месяцу» могло бы напомнить «Лунную сонату» Бетхо-